

ВДОХНОВЕНИЕ

Воскресенье начиналось совсем обычно. За окном – утренний зимний сумрак, снег и царапанье голубиных когтей по карнизу. За стеной – малолетний сосед по случаю выходного дня и отсутствия родителей врубил что-то рэповое. Кострыкин повалялся в постели, выкурил сигарету и поплёлся умываться и чистить зубы. Поедая яичницу, Кострыкин привычно думал: «Зачем живём? К чему стремимся? В чём смысл жизни?» С чашкой чаю он присел на подоконник, выглянул в окно своей замызганной хрущобы. В свете разгорающегося дня во дворе скучали заснеженные машины, качели с пушистой шапкой на сиденьях, ранние прохожие семеняли по ещё не расчищенным дорожкам. Голуби, спугнутые с карниза, перелетели к другим окнам, с надеждой поглядывая на Кострыкина. «Всё то же, – думал Кострыкин, – зима, неуют, холод... Как же всё это надоело!» Вдруг чашка застыла в его руке, он замер и закатил глаза. Потом поставил чашку на подоконник, вскочил, подбежал к телефонному столику и схватил блокнот. Снова на секунду замер и быстро принялся писать:

*На улице – февраль,
И то же – на душе.
Несветлая пора
Наскучила уже...*

Кострыкин вдруг почувствовал необычайный прилив радости. «На улице – февраль, – шептал он медленно и выразительно, – и то же – на душе...» Ну ведь здорово же? Конечно, здорово. Радость ощущалась так явственно, что ему хотелось запеть, закружиться по комнате. Однако Кострыкин вовремя вспомнил, что ему не то чтобы уже почти сорок, а всё же далеко за тридцать, и скакать в трусах по комнате как-то несолидно.

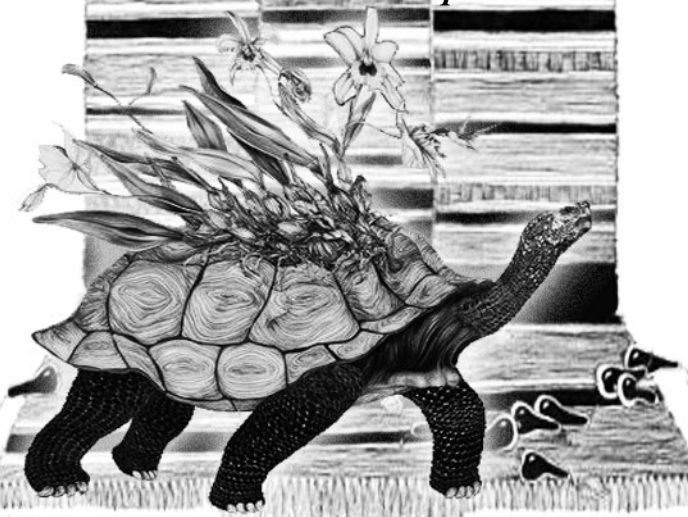
В общем, совершенно обыденно начавшийся день заиграл новыми красками, пообещал что-то новое, что, может быть, круто изменит жизнь...

Александр ЛОМТЕВ

г. Саров Нижегородской области

ХРОНИКА УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН

рассказы



Не натягивая штанов, он принялся ходить по квартире, пытаясь войти в мелькнувшее состояние вдохновения, принялся бормотать строчку за строчкой, подыскивать рифмы, не выпуская из поля зрения блокнота с первыми строчками. Азарт и вдохновение постепенно таяли, но не таяло, а, пожалуй, и разгоралось жгучее желание написать шедевр.

Однако день перетёк за полдень, а дело дальше не сдвигалось, как Кострыкин ни тужился. Но он так сильно хотел вновь испытать это сладкое чувство озарения, вдохновения, что готов был мучиться ещё хоть целый час. Да что час — день! И муки творчества поначалу даже показались приятными, ведь муки эти обещали счастливый просверк в сознании. Просверк, который позволит прибавить к первым четырём строчкам ещё четыре, ещё, ещё, а там, глядишь, и выльется дело в полную поэму! Загрязился Кострыкину лавровый венок, творческое выступление в городской библиотеке, и даже где-то в самом мозжечке шевельнулся крохотный червячок и заскрипел: «Нобелевская пр-емия...»

Конечно, работал-то Кострыкин рубщиком мяса, ножом и топориком орудовал мастерски, можно сказать, виртуозно, что и позволило ему безбедно пережить страшные девяностые. Но мясо мясом, а душа душой! Недаром играл когда-то Кострыкин в школьном театре и лучше всех в классе декламировал стихи. Вот оно когда проявилось — неосознанное призвание души! Вот так живёшь, живёшь, а талант в тебе растёт, растёт, силу набирает и вдруг — раз!словно зелёный побег сквозь грубый асфальт — к солнцу, вот он я!

Кострыкину стало страшно, а вдруг росток этот так и не сможет пробить заскорузлый асфальт его мясницкой души! Он ещё быстрее забегал по квартире, бормоча совсем уж какую-то несурезицу.

«Нужно расслабиться, — решил он, — отвлечься, не зацкиваться...» Кострыкин быстренько оделся и, стараясь не расплескать в себе ещё теплящееся утреннее состояние, отправился к школьному другу Володьке, благо жил тот в соседней хрущобе...

Володька прочитал строчки на вырванном из

блокнота листочке и сразу всё понял, поставил диагноз и задумался всего на секунду.

— Нужно расслабиться, то есть выпить, — уверенно выдал решение Володька и достал из сливного бачка в туалете спрятанную от жены бутылку.

Выпили. Поговорили о юбилейном Гоголе. Выпили еще. Поговорили о Пушкине. Бутылки, как всегда, не хватило, и Кострыкин сбежал. Обсудили проблему: писал Александр Сергеевич срамные стихи или не писал? Решили, что мог и написать. Но мог и не писать. Потом Володька, желая блеснуть познаниями, выудил из памяти интересный факт:

— Между прочим, песню, которую Никита Михалков поет в фильме «Жестокий романс», написал индийский йог Рабиндранат Тагор. Представляешь, индийский йог для наших цыган песни писал!

— Он не йог, — возразил Кострыкин, покопавшись в памяти.

— Йог, — настаивал Володька, — это в книжке «Двенадцать стульев» написано! Сам читал.

— Да нет! — окончательно вспомнил Кострыкин. — Это был сын Рабиндраната Тагора! Сын. И не в «Двенадцати стульях», а в «Золотом телёнке».

— Ну, если сын — йог, — логично предположил Володька, — то и отец йог, у них там по-другому никак нельзя, там же кастеты. То есть тьфу — касты! Уж если ты слесарь, то и детям, и внукам, и правнукам — только в слесаря!

Стихи прочитали несколько раз, Володька совершенно не сомневался — талант! Явно! Однозначно! На этот раз в магазин побежал Володька...

Бегали ли еще, что обсуждали, когда и как Кострыкин возвратился домой, он не запомнил. Воскресенье закатилось стремительно...

В понедельник Кострыкин хмуро рубил мясо и мучительно вспоминал, что же это такое было в воскресенье? Что это так обрадовало и взвинтило его? К Володьке идти не было никакой возможности, у того вернулась из поездки в родительскую деревню жена Люська. А она очень не одобряла, когда Володька с Кострыкиным выпивали больше одной бутылки...

На листочек с четырьмя строчками Кострыкин наткнулся в апреле, когда убирал в шкаф зим-

ную куртку. Он прочитал написанное, помолчал, потом мелко-мелко порвал листочек и выбросил его в форточку. К обрывкам метнулись было обманутые голуби, но тут же опомнились. «Голубей баснями не кормят», — ухмыльнулся Кострыкин. В душе его сладко плавилась печаль. Он знал, что не напишет больше ни одной стихотворной строчки...

ДРУЗЬЯ

Утром главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью Сидоров вскочил как оглашенный: проспал! Так не хотелось вставать, но бухгалтер по-быстренькому собрался, обжигаясь и давясь, залил в себя стакан горячего чая под бутерброд с копчёной колбаской и совсем уж побежал на работу, но тут жена из спальни крикнула:

— У тебя халтура, что ли? Ты надолго?

— Какая халтура! — удивился Сидоров. — Планёрка через десять минут, опаздываю!

— У вас уже и по воскресеньям планёрки? Совсем уж с ума сошли...

— Как по воскресеньям, сегодня разве не понедельник?

— Пить надо меньше! — буркнула из спальни жена, хотя прекрасно знала, что ни вчера, ни позавчера, да и уж недели полторы Сидоров не прикасался, поскольку писал квартальный...

В общем, бухгалтер разделся и снова спать завалился. И приснился ему странный сон. Словами описать трудно — одни чувства. В последнее время частенько стало ему сниться что-то непонятное. Иногда бывает: во сне прямо буря в душе, «Гамлет», а проснёшься — чего волновался-то? Непонятно... Вот и сегодня приснилась мысль (вот уже странно — мысль приснилась!): сколько хороших людей ушло и никогда не вернётся. Кто умер, кто уехал, с кем-то рассорился.

Уже проснувшись и лёжа с открытыми глазами, бухгалтер принялся вызывать в памяти одного за другим всех хороших людей, с которыми сталкивала его жизнь. Во-первых, конечно, родители. Ну, между собой ссорились они жутко.

Особенно в последнее время, когда отец, уйдя на пенсию, запил. Но ведь его-то любили. Да к тому же разве виноваты они в том, как сложилась их судьба. Из-за него же и не развелись. Человеком вырастили. С умилением бухгалтер вспоминал, как отец для него, шестилетнего, из обычных досок смастерил настоящие лыжи. На покупные денег не было — так сам сделал, и даже концы смог загнуть. И мать отца не бросила, когда тот тяжело заболел, тянула его, беспомощного, до последнего. Может, и умерла раньше времени из-за того... Бабушка с дедушкой... Дед — фронтовик... Учительница математики, прямо классическая, как из анекдота — Мариванна. Он один из всего класса, наверное, понял тогда её слова о математике: это целая страна, а циферки — живые, и у каждой своя жизнь. Один плюс два равняется три. Ну, как семья — двое сошлись и в результате вот он — третий, будущий главный бухгалтер большого предприятия, хоть и ООО. Потом — Миша. Вытащил его из полыньи. Мог и побояться, но не побоялся. И хоть был старше, а подружились. Очень. А вот судьба развела. Сел Миша за фарцовку, а отсидев, в город не вернулся и пропал из виду. А за что сидел человек? Купил подешевле, продал подороже — вся страна сейчас так живёт. А жизнь человеку поломали... Бухгалтер лежал в постели, слушал, как поднявшаяся жена гремит кастрюльками на кухне, и всё вспоминал, вспоминал, и печаль масляно плавала в душе, подступала к глазам солёным, щекотала в носу...

И вот что ещё грустно — с годами новые друзья появляются всё реже, всё реже с по-настоящему хорошими людьми сталкиваешься... Или сам хуже становишься? Или строже? Или видеть перестаёшь? Вот от этого так печально и стало во сне, так тоскливо — хоть плачь. А главное — что делать? Жизнь так устроена, и ничего ты с ней не поделаешь... Судьба людей сводит и разводит, и делает с людьми всё что хочет, как в греческих трагедиях...

После обеда Сидоров нашёл в недрах письменного стола коробку со старыми блокнотами и долго листал заскорузлые от долгого недвижимого лежания в темноте книжечки. По книжечкам, по записям выходило, что друзей у бухгалтера было немало. И на «А», и на «Б», и на «В» — почти на

все буквы. И подходил Сидоров с этими книжечками к телефону, и маялся у телефона, и снова листал блокнотики...

Но так никому и не позвонил...

ОТВЕТСЕК

Зав партийным отделом Симаков голоса не повышал, говорил ровно, словно учительница первого класса, диктуя изложение. Но как раз это спокойствие больше всего и угнетало. Колька опускал голову всё ниже и ниже. А после того как Симаков предложил наконец коллективу рассмотреть вопрос об увольнении, на пол закапали слезы.

— Ну, ладно, ладно, — поспешил успокоить молодого корреспондента редактор. — Вы, Пётр Петрович, не перебарщивайте... Человек один раз оступился. А вы уж...

Небольшой коллектив редакции сочувственно загудел...

Конечно, наказания Николай заслуживал, заслуживал... Но всё же большая вина лежала на этом старом безобразнике ответсеке Михалыче. Это Михалычу принесли в редакцию бутылку самогона «благодарные читатели». Это он не только не проследил, чтобы молодой корреспондент не перебрал, но ещё и потащил мальчишку с собой в кафе «Дорожное», чтобы добавить к ядрёному самогону явно разбавленного пивка. Ещё хуже того, по пути он захватил метранпажа, и тот на следующее утро сделал в вёрстке столько ошибок, что редактор читал гранки и хватался за голову.

Пока коллектив перемывал косточки проштрафившимся, редактор решал: увольнять Михалыча или не увольнять. По-хорошему, нужно было бы уволить. Разлагает коллектив, собственную газету, не стесняясь, вслед за несознательными гражданами называет «районной болтушкой», анекдоты сомнительные рассказывает, узнают в райкоме...

Но уволить было невозможно. Ну кого найдешь на место ответственного секретаря в маленькую районную газетку, в глухой район-

ный центр на самой окраине области... Вот даже корреспондентом пришлось взять мальчишку, едва окончившего десятилетку... Не-е-ет, увольнять никак нельзя...

— Ну, хорошо, хорошо, — прервал обвинительные речи зама редактор. — С Колей всё ясно. Всё ясно... Думаю, на первый раз можно ограничиться выговором... без нанесения... Тьфу, занесения... Теперь обсудим поведение Ивана Михайловича.

Симаков привычно глотнул из гранёного стакана желтоватой стоялой воды и принялся за Михалыча.

Слушая тяжкую обвинительную речь зама, Михалыч все ниже и ниже опускал лысоватую голову. Всему коллективу стало ясно, насколько глубоко раскаивается ответсек в содеянном. Да и что уж такого особенного. Никто же не забыл, как однажды выгружали из редакционного узика самого редактора в состоянии нестояния, когда он вернулся из командировки в дальний колхоз... Не пил в редакции только Симаков. Из-за язвы. А Симаков всё бубнил и бубнил, Михалыч клонился долу, сутулил плечи и горестно покачивал головой.

Редактор взгляделся в провинившегося, не дай бог слезу сейчас пустит, а ведь не мальчик, неудобно...

— Ну, что скажешь коллективу, Михалыч? — остановив зама, обратился он наконец к явно деморализованному ответсеку. — Что думаешь о своём поведении?

Михалыч медленно выпрямился. И все увидели, что на лице его не видно ни малейшего раскаяния. Михалыч торжественно прокашлялся и сказал:

— Мне уж пятьдесят с лишним. Я в редакции тридцать лет и редакцию ещё ни разу не подвёл. Не подвёл? Не подвёл. Пью? Да, пью. Пил. И пить буду! А за мальчишку и метранпажа наказывайте...

Уволили Михалыча года через три. И редактор долго мучился, пытаясь найти на место ответсека дельного человека. Нашёл и потом часто убивался в узком кругу коллег:

— Да, Михалыч пил. Но он водку пил, а этот — кровь мою пьёт...

БАБА МАНЯ

Рано утром баба Маня наскоро одевалась, пила чай с баранками и быстро, как могла, пробиралась к театру, к тому месту оцепления, от которого особенно хорошо была видна большая яркая афиша «Норд-Ост». Тут она начинала ходить с иконкой в руках вдоль оцепления, вздыхая и роняя слёзы. Рано или поздно на неё обращал внимание какой-нибудь журналист, спрашивал, кто она и отчего горюет. И вот уже через несколько минут она рассказывала в камеру, как её единственная дочка, кровинушка, с внучком отправилась на спектакль и вот теперь сидят они там под дулами злых чеченцев, а она тут горюет и покоя не знает...

Бабу Маню жалели, успокаивали, давали ей горячий кофе с холодными пирожками или подсохшими бутербродами, а иногда стыдливо совали и деньги. А она вспоминала, как хорошо было при советской власти, и расписывала журналистам свои старческие беды.

Поздно вечером усталая, едва держащаяся на ногах, она убредала домой и засыпала со счастливой улыбкой на устах. А с утра вновь спешила к театру, к всеобщему вниманию и сочувствию — рассказывать про дочку и внука, которые в заложниках...

Дочка у бабы Мани была. Была и внучка. Только жили они далеко — на Дальнем Востоке, и в Москву не приезжали много лет. Когда дочка вышла замуж, баба Маня, тогда ещё крепкая властная женщина, схоронившая двух мужей, отказалась принять дочкиного мужа, а тем более прописать его в своей московской огромными трудами нажитой квартире. Те помаялись-помаялись, да и уехали на Дальний Восток к родне мужа, где и осели. Но ни писать, ни звонить с тех пор дочка матери не стала.

Когда соседки спрашивали бабу Маню о дочке, та сурово поджимала губы: родную мать продала, на мужика променяла! Где-то в глубине души, глубоко-глубоко, на самом доньшке чувство неправоты трепыхалось заморённым птенчиком, но баба Маня сжимала губы, и птенчик пугался и замирал.

Звёздный час бабы Мани быстро кончился. Театр штурмовали, террористов поубивали, и бабе Мане некуда стало приходиться. Одиночество навалилось с новой силой. Вечерами она пила чай с баранками, листала альбом с фотографиями, на которых была и ещё маленькая и уже взрослая дочь, но не было внучки, и незаметно для себя плакала...

ЗВОНОК С ТОГО СВЕТА

Светка влетела в комнату и заорала: — Я гениальную пьесу придумала! Напишу — и денег заработаю, и прославлюсь!

Денег и славы в этом помещении хотелось (кому тайно, кому явно) всем. Редакция «Городского вестника» платила ровно столько, чтобы творческому человеку лень было искать другую работу. А слава... какая может быть слава у провинциального журналиста, кропающего опусы в газетку тиражом пять тысяч экземпляров.

Светка была из дарований, в школе писала стихи, в институт поэтому поступать не стала, а сразу устроилась в газету — набираться житейского опыта, точить перо и в свободное от журналистики время отдавать всю себя настоящей литературе.

— Ну, в общем, это пьеса. — Светка встала в центре комнаты и принялась рассказывать «фабулу». — Значит, название «Звонок с Того Света». Действующие лица. Изольда — мятущаяся девушка семнадцати лет. Пишет стихи, рисует, ищет смысл жизни: буддизм, православие, язычество — гремучая смесь в голове.

— Как у тебя, — язвительно буркнул из-за компьютера желчный Сергеич, безуспешно делающий вид, что Светка мешает ему закончить срочный материал. Материал не шёл со вчерашнего дня — словно в стенку упёрся.

— Василий — молодой человек, — не взглянув в сторону ворчуна, слегка возвысила голос Светка, — девятнадцать лет, из «ботаников», начитанный, но простой. Клавдия Степановна — мама мятущейся девушки. Её муж — человек без име-

руге и там, у подруги, они, пользуясь отсутствием мужей, принялись «квасить». Когда усидели почти полную бутылку мартини — звонок на сотовый. Светка смотрит: высвечивается «Кобра!» Ну, Светка, как замороженная, берёт трубку и еле-еле находит силы спросить «Да?». А в трубке — голос мужа. И тут у нетрезвой Светки совсем крыша поехала, решила она, что и муж уже на Том Свете. Ну, она спрашивает: «Ты где?» А он: «Где-где — под землёй». Она: «Как ты туда попал?» Он: «Как-как — по лесенке». Светка за сердце хватается и чуть в обморок не падает. Но тут подруга перехватывает сотовый и всё проясняется: из погреба муж звонил. Из свекровино. Полез проверять, что и как, ну и обнаружил там сотовый, который свекровь перед смертью забыла. Аккумулятор ещё не сдох, стал он смотреть список абонентов, увидел имя — «Злыдня», вот и решил позвонить, проверить, кого это так покойная матушка назвала...

А фильм по Светкиному произведению действительно сняли и даже назвали его «Звон с Того Света», и даже показали его по центральному телевидению. Славы это, правда, Светке большой не принесло. Все видевшие его оценили интеллигентно коротко — «говно»! Светка кричала, что сценарий порезали и переврали без её ведома. Но с другой стороны, и такая слава — слава...

ПАМЯТЬ

Девяносто один год — не шутка. Но он решил дойти до этой деревушки. Он брёл по каменной тропе, внимательно глядя под ноги, и выискивал место поровнее, прежде чем поставить ногу. Узкое ущелье не давало солнцу напрямую калить рыжие каменные стены, но всё равно было жарко. Очень жарко. Рудольф неторопливо шёл по тропе, временами впадал в задумчивость, и ему казалось, что он вернулся в прошлое. Вот сейчас его окликнет идущий по пятам Ганс и кинет ему флягу с тепловатой водой. Конечно, тогда, весной сорок первого, он не плёлся вот так среди этого дикого нагромождения камней, а

быстро шагал, перескакивая бульжники и озёрки пересыхающего, пропадающего в камнях ручья. И всё время ждал выстрелов.

Это был очередной карательный рейд, но греки не боялись их. Они очень хорошо знали каменные лабиринты своего ущелья и после каждого короткого ожесточённого боя ускользали, не дав опомниться. До самого исхода с Крита им так и не удалось выбить греков с ближайших гор.

Но в тот день удалось захватить связного. Так решил Ганс, что этот испуганный подросток — партизанский связной. Ему прострелили ногу, и после допроса, чтобы не тащить раненого по жаре через ущелье, Ганс приказал пристрелить мальчишку. И его пристрелили.

Рудольф, чтобы отвлечься, принялся вспоминать прочитанное в путеводителе.

О рощицах шелковиц и инжира, растущих вокруг источников, о соснах и медоносных цветах, о пастушьих домиках митато, построенных из грубого камня даже без скрепляющего раствора, о горных козах кри-кри, о старых арочных домиках с мансардами в маленькой деревушке...

Деревушку они сожгли ещё раньше. До того, как пристрелили мальчишку. К развалинам этой деревушки ему и нужно было добраться.

Зачем? Он и сам не знал...

Он шёл и медленно думал о том, как тут жили люди. Пасли стада овец, строили водяные мельницы, охотились, рожали детей... А в праздники жарили ароматное мясо и запивали его огненной цикудьёй. Пели и танцевали. И тут пришёл он, Рудольф. И Ганс. И другие рудольфы и гансы... И расстреляли того мальчишку. Зачем? Почему? Для какой высшей цели? И что изменила эта смерть? Что-то изменила...

Рудольф добрёл наконец до деревушки. И ничего не узнал. Но воспоминания нахлынули на него с такой силой, что он невольно осел на ближайший валун.

Ганса застрелил снайпер через месяц после того карательного рейда, и он сам рассказал об этом невесте Ганса потом, уже после войны. Сегодня ему было особенно жалко и Ганса, и того греческого мальчишку, и он никак не мог понять — кого больше. Как же так, столько лет прошло, а сердце всё болит и болит. И ничего не изменить. И всё продолжает-

ся — где-то другие рудольфы и гансы стреляют в других мальчишек.

Рудольф вдруг затрясся и зарыдал.

Непонятно откуда, словно прямо из скалы, к нему подбежали греки-инструкторы. Он на плохом английском объяснил, что с ним всё в порядке, что просто он воевал тут когда-то против них, греков. Он не знал, что толкало его, но всё рассказывал и рассказывал, захлёбываясь слезами, и про карательные рейды, и про сожжение деревушки, и про расстрелянного парнишку. Греки повернулись и ушли. И Рудольфу показалось, что он остался один на целой планете и что это горячее ущелье — его личный ад.

Но греки вернулись. Они принесли с собой бутылку цикудьи, хлеб и миску с оливковым маслом. Они наливали цикудью в маленькие стаканчики и себе, и Рудольфу, пили, ломали хлеб, макали его в масло, снова пили и плакали вместе с Рудольфом.

Проходившие мимо туристы с изумлением разглядывали трёх плачущих мужчин. Одного очень пожилого и двух молодых. А те пили и плакали, пили и плакали...

Н А Т А Н Ц Ы

Наконец-то — пятница! Родители вернулись с работы — скоро ехать! Папа подогнал к подъезду машину, и все быстро перенесли сумки и пакеты в багажник. Тут и свежие батоны — бабушка любит к чаю, и карамельки — и ей, и девочкам, опять же к чаю, селёдка маринованная в плоских круглых банках и пара позвякивающих «Столичных» — это деду; конечно, гостинцы двоюродным, крёстной, тётушкам... Как сейчас хорошо в деревне — стадо гонят из лугов, ласточки с криками гоняются в синевом небе, гуси гогочут с пруда; как раз к приезду бабушка испечёт пирогов, папа будет есть их с парным молоком, остальные — с холодным, из погреба. Солнце еще не коснулось верхушек берёз, когда жёлтый ВАЗ бодро выехал с широкого шоссе на узкую, но всё же асфальтовую дорогу, плавными дугами уходящую в поля...

Васька снова припёрся в клуб пьяным, и тут же едва не случилась драка. Ваське показалось, что на его Таньку слишком откровенно зырит Серый. Но как-то удалось ссору погасить, и все скакали под модную ныне французскую дерганую мелодию; и Васька, показывая силу, подбрасывал и ловил свою Таньку, а та визжала и довольно поглядывала на подруг — такого сильного и красивого парня не было ни у кого в селе. Парни выходили из клуба, звякали в кустах сирени бутылками и возвращались с красными щеками и влажными глазами.

— Вы хоть закусывайте, — советовал парням завклубом Захарыч. — А то опять безобразить начнёте, опять милицию вызывать придётся.

— Мы закусываем, закусываем, Захарыч, ты не волнуйся.

Машину вдруг повело, колёса зашуршали по обочине и подняли облако рыжей пыли. Папа вышел из машины, посмотрел, чертыхнулся. Гвоздя поймали. Сбросил пиджак, засучил рукава рубашки и полез в багажник за домкратом и запаской. Девочки выбрались на волю и принялись бегать по лугу в косых лучах солнца, пробивающихся сквозь зелёный гребень лесопосадки. Засветло теперь, пожалуй, не доберемся, подумала мама, и необъяснимая тревога вдруг тронула её сердце...

Стемнело. Отсюда, сверху, с крыльца клуба село виднелось теперь строчками уличных фонарей да окон на чёрном бархате — где оранжевых, где телевизорно-голубых. Захарыч гремел замком, не слушая уговоров ненагулявшейся молодёжи. Отмахивался, завтра, мол, суббота, вот завтра и не закрою хоть до утра, а сегодня я, мол, еще и в бане не был.

Васька вспомнил, что в райцентре в пятницу клуб не закрывается и за полночь. Но до райцентра километров пятнадцать — не пёхом же топтать. Тут Серый и решил показать себя: щас будет вам такси! И действительно, через десять минут в темноте показались фары и к крыльцу клуба притарахтел колёсный тракторишка с прицепом. Серый высунулся из кабинки: такси подано, дамы и сэры! Компания со смехом погрузилась в прицеп, и трактор, вихляя по дороге, утонул в темноте...

Солнце село, в свете фар метались ночные мотыльки, но дорога была хорошо известна и они ехали быстро. Машина плавно мчалась в черноте, выхватывая фарами то придорожный куст, то ночную птицу, вспархивающую с тёплого асфальта. Папа злился на неожиданную задержку. Мало того что проткнули колесо, так ещё и запаска оказалась ненакаченной, пришлось потеть с ручным насосом. В деревне, наверное, уже волнуются, дед, небось, стоит на крыльце, высматривает огни на дороге. Девочки уснули, а мама смотрела в лобовое стекло и хотела, но никак не могла задремать.

Серый видел фары легковушки, несущейся по асфальтке, но решил, что проскочит. А водитель жёлтого ВАЗа на тусклые фары на левой дороге даже не обратил внимания. Трактор вылетел перед ним как чёрт из табакерки, и он даже не пытался тормозить. Легковушка влетела прямо под прицеп. Низкая рама прицепа просто срезала верх машины, смяв и водителя, и пассажиров в кровавый фарш. Задние колёса прицепа подбросило, и люди из него с воплями посыпались как горох. Потом всё стихло, только невидимые кузнечики звенели, потом к прицепу из темноты вышли все выпавшие — никто всерьёз не пострадал. Серый выбрался из кабины, и все сгрудились вокруг смятого ВАЗа. Кого-то вырвало. Васька сказал:

— Ну чего тут теперь глазеть, поехали дальше. Они погрузились на прицеп, и трактор тронулся в сторону райцентра. В райцентровском клубе Ваську и Серого, конечно же, побили, они сходили к знакомому, купили самогонки и уже под утро всей компанией отправились домой. Возвращались другой дорогой.

Серого посадили на три года, Васька отделался условным. На обочине у поворота на просёлок появился памятник с фотографией, явно сделанной на каком-то семейном торжестве, может быть, в дне рождения. На фотографии мужчина средних лет, его жена, улыбающаяся красивая женщина, и три девочки-погодки.

БЕЗ ТЕЛЕВИЗОРА

Иванов поехал за грибами и заблудился. Напрасно жена с тестем сигналили ему из машины, оставленной у кромки леса, до самой темноты; напрасно светили дальним светом фар в ночную лесную гущу. Напрасно отряд МЧС с добровольцами из соседних деревень прочёсывали тайгу, стреляли из сигнального пистолета и запускали ракеты. Иванов — сугубо городской человек, лысый кандидат-физик — сгинул бесследно...

Иванов несколько суток шёл по тайге, питаюсь сырыми грибами, кислыми ягодами и орехами; брёл то в одну, то в другую сторону, не находя ни дороги, ни малой тропки. Сначала он пытался вспомнить что-то о мхе на деревьях, Полярной звезде, солнце и часах, но потом просто шёл и шёл. Ночью забирался на ближайшее дерево и дремал, вздрагивая от каждого шороха и лесного крика. Ему повезло: в конце концов, он набрёл на старую охотничью избушку. В избушке было всё — и печка, и заготовленные для неё дрова, и продукты, и даже спички. Иванов понял, что выживет. Он быстро отдохнул, немного отъелся и успокоился. Куда идти, как выбираться из тайги, он не знал, и решил ждать. На ближайшей поляне приготовил огромную кучу сушняка с травой для дыма, выложил из веток английское SOS и стал ждать.

Сначала ему было хорошо, он даже радовался неожиданному приключению и представлял себя новым Робинзоном Крузо. Слушал птичек, загорал на поляне и ловил рыбёшку в ручье. Но через некоторое время почувствовал сосущую под ложечкой тоску. Он вдруг понял, что ему отчаянно не хватает многих вещей, которые были у него в городе. Кофе. Туалетной бумаги. Гостера. Интернета. Соседа с нардами. Шума машин за окном и даже ночной сигнализации. Электричества. Газет. Обеденного перерыва и разговора с коллегами о футболе и начальстве. Инны из соседнего отдела. Даже жены.

Но больше всего ему не хватало телевизора.

Не хватало душики Регины Дубовицкой, Петросяна, «Ментовских войн» не хватало и... В общем, со всем можно было ещё как-то мириться, но когда солнце падало за край тайги и избушку окутывала тьма, почти не разгоняемая огарком стеариновой свечки, на Иванова накатывала страшная депрессия. Порой, задумавшись, он вдруг вставал с лежанки и начинал искать пульт, раздражаясь и сердясь (куда же я его засунул?!), пока не осознавал, что нет не только никакого пульта, но и самого телевизора. У него началась самая настоящая ломка. Это было мучительно: приходила ночь, и он не знал, куда себя деть. Ощущал тяжкую бессмысленность своего бытия. Мысли, не занятые Региной Дубовицкой и Шифриным, приводили его к таким вопросам, которые терзали душу и не давали покоя. А ведь мысль — не телевизор, её не выключишь нажатием кнопочки пульта. И, наконец, он понял, как правильно была устроена его жизнь в городе, осознал, что зря ругают наше телевидение, ведь оно спасает нас от сумасшествия, спасает от неразрешимого, а потому опаснейшего для цивилизации вопроса: в чём смысл жизни?! Становилось всё хуже — бессонница, галлюцинации и бред...

Его нашли через полтора месяца. Он оброс, оборвался, сильно похудел, но физически был совершенно здоров. Чего нельзя было сказать о его психическом состоянии. Он не узнавал близких, плакал, разговаривал сам с собой, вёл себя очень беспокойно, куда-то рвался. Врачи и спасатели ломали голову — отчего человек сошёл с ума, если у него всё было для нормального выживания? Что же делать — его определили в психиатрическую лечебницу.

Его помыли, постригли, одели в больничную пижаму и стали лечить. В первый же вечер в общем холле он сел перед телевизором и уснул. Он смотрел все передачи подряд и улыбался, он был беспредельно счастлив...

Ф И Л О С О Ф И Я

Старший научный сотрудник Иванов и младший научный сотрудник Сидоров стояли на лестничной площадке второго этажа родного НИИ и курили, коротая время до недалекого обеда за перекуром. Все приличные люди из НИИ давно разбежались, и многие завели свои дела. Сидоров не сбежал потому, что по молодости искренне верил в торжество науки и мечтал сделаться великим ученым. А Иванов и сам не знал, отчего сидел на нищенской зарплате при отсутствии всяких перспектив. Наверное, он был философом. Вот и теперь на заплёванной лестничной клетке он внушал молодому коллеге, что жизнь складывается так, как она складывается, и никак иначе.

— Такова реальность нашей действительности. Если глобально, в космическом, так сказать, смысле, человек практически ничем не отличается от яблока.

— Ну, это уж явное преувеличение, — неуверенно возразил Сидоров старшему товарищу.

— Ни капли преувеличения, — Иванов картинно отвёл руку с дымящейся сигаретой. — Яблоко может родить только яблоко, так же как и человек рождает лишь себе подобного. Яблоко не знает, с какой целью оно существует, и человек не знает...

— А сознание?

— Сознание... Наличие сознания ничего не меняет. Сознание лишь фиксирует процесс, но никак на него по большому счету не влияет. Человек то же беспомощное яблоко на тонкой ветке судьбы. Ты можешь сказать, а как же развитие цивилизации, техника, философская мысль... Да ведь и яблоко было когда-то кислым, зелёным жёстким дичком. Теперь масса различных сортов. Но все эти сорта по своей сущности — всё то же банальное яблоко! И человек со всей его философией, цивилизацией и техникой — всё тот же банальный человек. Ни одно изобретение, ни один философский изыск не сделал человека как вид принципиально другим. Мало того, когда жизнь становится легче, человек, по-моему, становится хуже. Лиши яблоко ухода садовода, и оно тут же снова превра-

тится в кислый дичок. То же самое и с человеком: когда в Нью-Йорке несколько лет назад произошла авария и сутки не было электричества, это стало для миллионов людей катастрофой. В большинстве случаев, правда, катастрофой смешной. Людей лишили телевизоров, и в результате через девять месяцев случился всплеск рождаемости. Но если бы электричества лишилась вся планета, люди вернулись бы в лучшем случае в средневековое состояние.

— Но ведь это ужасно!

— А что же в этом ужасного? Только то, что нам хочется чувствовать себя чем-то большим, чем одно из яблок планеты? Но мыслящее яблоко всё же лучше, чем яблоко немыслящее. Виси себе на ветке и любуйся красотами мира — сентябрьскими звездопадами, вечерними августовскими закатами, морским прибоем, приносящим из неведомых глубин запах водорослей, и грусти о своей бренности и неразгаданности бытия. Такова действительность нашей реальности... — Иванов задумался, потом передёрнул плечами. — М-да... Всё-таки ты прав — это ужасно!

Минут через двадцать они сидели в институтской столовке, хлебали борщ и спорили: Арнольд Шварценеггер — стоящий актёр или дешёвка...

Р а й

Я возвращался из Рая весь в слезах. Слезы текли по щекам, попадали в уши и щекалели их, подушка вся промокла. Я уж и не помню, когда так рыдал. Должно быть, в тот раз, в двенадцать лет, когда от чумки погиб Джек. Фотографии остроухого раздвинувшего пасть в улыбке Джека, сделанные фотоаппаратом «Смена-7», до сих пор лежат где-то в коробке из-под ботинок, пожелтевшие, с изображением словно в тумане... Даже когда умерла бабушка, я плакал не так горько...

В общем-то, Рай мне понравился — много света, очень много. Откуда исходил этот мягкий, сильный, но не ослепляющий свет, играющий

иногда нежными разноцветными, словно северное сияние, сполохами, было непонятно. Вокруг разливалось сухое нежное тепло, а воздух сочился изумительным запахом, в котором было абсолютно всё, что тешит душу — запах океанского бриза, еловой хвои, антоновских яблок, тронутых ранним морозом, цветочного мёда, убежавшего и чуть подгоревшего молока, цветущей липы, щенка, поцелуя... В Раю нет горизонта — в бесконечность уходит белое пушистое пространство, на котором из серебристого низкого тумана растут стройные кудрявые зелёные деревца все в цвету. Каждое дерево на своём участке, вроде бы и не огороженном, но каким-то образом отделённом от других, и под каждым деревом — человек. Причём никто не уходил от «своего» дерева и не общался с другими. Я не видел ясно их лиц, но как-то понимал, что все они разного возраста, разного цвета кожи, роста... Все чем-то непонятным мне занимались, но опять же непонятно отчего я знал, что им очень хорошо. Да и мне было необычайно легко. И душа моя переполнялась светом и силой. Эйфория, nirvana, абсолют... все эти определения не передают и малой доли того блаженства, в которое я впал. Я вдруг понял, отчего многие, рассказывая о полёте в загробную жизнь во время клинической смерти, утверждали, что не хотели возвращаться. Я плавал и плавал в этих потоках света, вдыхал эти неземные земные запахи и наполнялся радостью, поскольку понял, что смерти нет, что всё бесконечно, всё правильно, всё справедливо и гармонично, пока... Пока не обнаружил страшную вещь, заставившую меня задохнуться от горя: под одним из деревьев играла моя дочка! Имени её я не помнил; вернее, Там имени и не было, просто это была моя дочка. Моя пятилетняя дочка, которой вечером я читал сказки и пел песенки. Я чувствовал, что ей хорошо, она улыбалась, играла со мной, прыгала и смеялась. Но меня охватил ужас. Она ничего не понимает! И хорошо — не надо её пугать. Мне нужно было во что бы то ни стало вернуть её. Я играл с ней и, играя, потихоньку уводил от деревца, но в какой-то момент она останавливалась и убегала обратно. Я вёл её за руку, но рука выскользнула из моей ладони и дочка возвращалась под своё дерево, а если я пытался унести её на руках, она впадала в такой ужас, в такую панику, что мне приходилось отпускать её, и она

возвращалась под своё деревце. Отчего-то я знал, что времени у меня всё меньше и меньше, и я чувствовал, что вернуть её мне не удастся.

Я запаниковал, сжал зубы, схватил дочку под мышку и опрометью бросился прочь от дерева, стараясь не обращать внимания на то, как она всё сильнее бьётся и рвётся, как она кричит, как крик переходит в хрип и совершенно невообразимый вой; вой этот становился всё тоньше и выше, и не было сил выдерживать его. Я остановился, повернул извивающееся тельце к себе и похолодел: в руках у меня дёргалась и ломалась лохматая, краснолицая, клыкастая обезьянка, она визжала и царапала мои руки длинными когтями. Я бросил её и вдруг провалился в туман, потеряв под ногами опору...

За окном выла сигнализацией чья-то машина. Рай уплывал из памяти, уплывал свет, истончался райский запах, гасла неясная музыка небесных сфер. Уплывали стройные деревца с человеческими фигурками под ними. Уходило чувство реальности Рая... Только невыразимая печаль продолжала сосать сердце, и слёзы ручьём лились из глаз.

Стараясь не потревожить жену, я встал с постели, перевернул подушку мокрым вниз, зашёл в ванную, сполоснул лицо ледяной водой и немного успокоился. Только потом с бьющимся сердцем потихоньку заглянул в детскую. Сын, отвернувшись к стенке, тихо посапывал в сладкой утренней дреме. Дочка лежала на спине и, обняв лохматую плюшевую собаку, улыбалась во сне.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Старая фотография. Крым. Евпатория. Детский санаторий. Так бывает. Вдруг невесть откуда выскользнет старая, казалось бы, уже безвозвратно потерянная фотография, и запнёшься, остановишься, впадёшь в лёгкий ступор. Забудешь на время, что искал и для чего полез в эти коробки... Это я?! Это я. А это Наташка, а это Колька, а имена этих детей память уже потеряла...

Синее море оказалось вовсе не синим. Скорее — зелёным. И пахло не солью. И не йодом. А чем-то, для чего не придумано ещё точного названия; какой-то романтической тухлецой, но и без названия этот запах будоражил и навевал сладкую тоску. Примерно такую же, какую приносит терпкий, горький запах мелкого коричневого шлака, рассыпанного между железнодорожными шпалами, — так пахнет расставание, надежда на дальнейшее путешествие со счастливым возвращением, надежда на будущее счастье, которое наступит после того, как отстучат по стыкам рельсов вагонные колёса и поезд привезёт тебя туда, куда ты по-настоящему всю жизнь стремишься... И прибой шумел, и кричали чайки, и ракушки светлой полосой белели после шторма, и белый пароход дымил трубой почти на самом горизонте... И всё впервые. И первая любовь...

Наташка, украиночка: щёчки пухленькие, с ямочками, губки — вишенки, глаза — черешни, тёмные, влажные и зовущие... Смешливая. Ох, и дрались же мы из-за неё отчаянно с нечаянным другом Колькой из Днепропетровска. Дружили и дрались. На снимке она стоит между нами, но руку положила на Колькино плечо. Вид у меня безмятежный, почти весёлый, но как же мне было обидно...

В тот день одна девочка из нашего отряда впадала в истерический припадок. Мы бродили по пляжу, собирали красивые камушки, облизанные прибоем монпансье бутылочных стёклышек и ракушки, и кто-то её задел, уже не помню чем. Она кричала, брызгала слюной и страшно кусала себя за руку. А дети, пока не подросли воспитатели, смеялись над ней и дразнили. И Колька кричал ей: «Фас! Фас! Укуси себя за нос!» Тогда мы первый и единственный раз подрались не из-за Наташки. Нас обоих наказали, и мы как-то незаметно помирились. А Наташка обиделась, что я заступился «за припадочную», ведь она смеялась вместе со всеми. Девочку положили в изолятор, а после обеда пришёл фотограф делать обший снимок «на память».

Нас поставили «группой», и Наташка положила руку на Колькино плечо; фотограф покомандовал, пощёлкал затвором, и наши лица навеки отпечатались в серебре негатива... И навеки Наташкина рука застыла не на моём плече.

Жизнь завертела, закружила, развела... Только эта фотография да тоска о чём-то без-

возвратно потерянном — вот и всё, что осталось от того солнечного времени в жестокой памяти. А в зачерствевшей, заскорузлой от долгого употребления душе до сих пор нет-нет да и заплещется то детское евпаторийское море, омывая её житейские раны и трещины; хотя на фотографии моря нет.

РАЗГОВОР

Тут Ира встала из-за стола с таким видом, ... что все замолчали. Она оперлась кулаками о стол, оглядела семью и медленно, но чётко с ударением произнесла...

...Собака была стара. Бабушка тоже была совсем старенькой. И хотя в человеческом летоисчислении бабушка была куда как старше собаки, биологически они были практически ровесниками. К тому же собака заболела. Дина почти неделю отказывалась от еды, целыми днями лежала на боку и время от времени стонала. В доме серой вуалью висела грусть. Дина прожила в семье долгую жизнь — от едва вставшего на кривоватые лапки щенка до старой-престарой собаки. Однажды сильные и стройные лапы отказались носить отяжелевшее тело, и овчарку стали выносить во двор на руках. Когда у нее появились судороги, Ира вызвала ветеринара. Вечером ветеринар смотрел безразличную ко всему Дину, а вся семья столпилась в дверях и смотрела, как доктор мял собачьи лапы, поднимал безвольную по-прежнему остроухую голову, слушал сердце.

— Ну что, сердце в порядке, ничего особенно не нарушено... Ну, питание мягкое улучшенное, ну, витамины... Ещё поживёт... Но в общем-то всё это мало что даст — старость есть старость...

Потом ветеринар ушёл, на пороге снова повторив это слово — «старость».

Сидели за кухонным столом, нетронутые тарелки белели на клеёнке, в выпуклом боку чайника поблёскивала кухонная лампочка.

— Придётся её усыпить, — муж Витечка произнёс эти слова вроде бы и через силу, но твёрдо, как о деле решённом.

— Ни за что! — вскочила из-за стола Настёна. — Как можно!

Младший, Колюня, тихо заплакал. Бабушка отвернулась к окну.

— Да вы поймите, она же мучается, страдает! — Витечка сердился, поскольку получалось, что все вот такие сердобольные, а он такой вот жестокий. — Это не тот случай, когда нужно быть добренькими. Вы поймите, от старости лекарства ещё не придумали. Так зачем эта агония, эти стоны, мучение...

— Но ведь врач же сказал — ничего не нарушено, что витамины, питание, — Ира, соглашаясь в глубине души с мужем, не могла сказать этого Колюне и Настёне. — Может, ещё ничего...

— Да, может, обойдётся, — тихо подала голос бабушка, не отворачиваясь от окна.

— Ну что — «ничего», — всё сильнее раздражался Витечка, — что «ничего»? Вы что, не понимаете? Мне не меньше вашего Дину жалко, именно поэтому я и предлагаю прекратить её мучения. А тебе нового щенка купим, — обратился он к Колюне.

Колюня продолжал тихо плакать.

— Папа, как ты можешь, — Настёна тоже едва не разрыдалась, — нам не нужен новый щенок, нам нужна Дина!

— Ну, попробовать-то можно, — примирительно сказала Ирина. — Куплю витамины...

— Да какие витамины — от старости? — упрямо перебил жену Витечка. — И перестань ныть, Коля. Ты мужчина или нет! Да поймите вы простую вещь, Дина состарилась! А смерть штука неизбежная! Вы только представьте себе, сколько ей по человеческим меркам. Если бы она была человеком, ей же сейчас было бы за восемьдесят! Она всё равно умрёт, только промучается бесполезно! Не ясно, что ли?

Тут Ира увидела, как подбородок бабушки мелко задрожал и она ещё сильнее отвернулась в сторону окна, словно вглядываясь во что-то за тёмным стеклом.

— Витя! — глазами показала мужу на бабушку, и тот осёкся. Над столом повисла гнетущая тишина...

И тут Ира, с резким скрипом отодвинув табурет, встала из-за стола с таким видом, что все невольно посмотрели на неё, даже бабушка обернулась от окна. Ира оперлась кулаками о стол, оглядела семью и медленно, но чётко, глядя на бабушку, с ударением произнесла:

— В этой семье ни-кто ни-ког-да без моего разрешения не умрёт!

Все как-то сразу вздохнули и успокоились, а собака и бабушка смотрели на неё такими глазами, что она и сама поверила своим словам...

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

Станция называлась красиво — Семь колодезей. Романтично. Но они приехали слишком поздно и сразу поняли, что дальше не уехать и до Казантипа сегодня никак не добраться. И Сергей снова пожалел, что соблазнился этой поездкой. Ещё один вечер пришлось сидеть на спальных мешках, расстеленных прямо на газоне среди чахлах кустов за древним вокзалом, слушать бряканье гитары и самозабвенное завывание активно наслаждавшихся «дикой жизнью» спутников. Костёр в сквере не разожжёшь, ужинали какой-то консервированной чепухой.

«Чёрт, — вздыхалось Сергею. — Хотел убежать от тоскливых мыслей, а тут, наоборот, только и делаешь, что думаешь да вспоминаешь!» С того дня, как они расстались с Наташкой, прошло два месяца. И вот ведь удивительная штука, расстались по его, Сергея, инициативе, а вместо облегчения — последние дни прошли в сплошных ссорах, навалилась на душу страшная тоска. Из-за этого он и поддался уговорам рвануть на пару недель в Крым, на тот самый Казантип. Рванул...

В темноте лаяли с подвывом собаки, какая-то ночная птица нервно вскрикивала совсем рядом, над головами с тихим шорохом пролетали довольно большие летучие мыши, заставляя повизгивать женскую часть группы. Пахло чем-то южным, пряным вперемешку с хлорным туалетом. Поднялся ветер и начал скрипеть старыми кривыми стволами акаций, нагоняя унынье. Едва начнёшь задрёмывать, как взвояет над ухом электричка или протарахтит за сквером грузовик. Спал или не спал — Сергей так и не понял.

Утром все встали хмурыми, и Светлана, студентка медицинского, будущий психиатр, выставила диагноз:

— Утренняя дисфория!

— Вроде не пили, — попытался кто-то пошу-

тить, но никто не улыбнулся. Действительно — дисфория...

До Казантипа добирались сначала на старом, вконец растрюханном пазике, потом — пешком. Жара и рюкзаки давили к земле, и пот прокладывал тёмные дорожки по побелевшим от пыли лицам. «Чёрт, чёрт, чёрт! — ругался Сергей. — Купился на эту ерундовую романтику». И вспоминал, как Наташка всё уговаривала его пойти в байдарочный поход с однокурсниками и напевала: «Долго будет Карелия сниться...» Но так и не уговорила. А что, если бы уговорила, подумалось вдруг ему, может быть, что-то изменилось? Нет, вряд ли...

И почему так бывает на свете — любят человека друг друга, точно любят, а жить вместе не могут. Вот почему, спрашивается...

— Эй, Серёга, ты далеко?! — услышал вдруг он и остановился.

Оказывается, уже пришли на место, группа побросала рюкзаки и расселась отдыхать, а он в задумчивости брёл дальше, пока его не окликнули.

Тут только он заметил, что вокруг с одной стороны — желтовато-белая степь на полгоризонта, а в другую половину горизонта упирается синее-синее море. «Ну да, красиво, — подумал Сергей, — но не до такой же степени, чтобы переть тридцатикилограммовый рюкзак по этой жарнице, давиться холодными консервами и спать в тонком спальнике почти на голой земле...» А Наташу вот всё тянуло на такую романтику. Да смотри ты «Клуб кинопутешествий» — всё то же самое, только под попой диван, а не кочка, и комары не жрут...

Под ивняком прямо на прибрежном пляже выросли разноцветные домики палаток, заплясал под котелком костерок из сушёного плавника. Народ полез купаться — брызги, визги, смех. Сергей прихватил спальник и осмотрелся. Бухта широким полукругом охватывала часть Азова, на концах её торчали невысокие каменистые мыски. Далеко справа темнел пирсами рыбацкий посёлок, белела на рейде яхта, в глубине бухты то появлялись, то скрывались за пологими волнами тёмные скорлупки баркасов. Сергей пошёл в противоположную от посёлка сторону, набрёл на небольшой желтоватый выступ из ракушечника, слегка выдающийся в море, взобрался на него и, сбросив спальник, с наслаждением растя-

нулся. Лёгкий ветерок навевал сон, но, несмотря на бессонную ночь, задремать почему-то не удавалось. Сергей лежал, смотрел на море, на яхту, которая подняла парус и начала медленно уходить к горизонту, слушал неназойливый плеск волны, втягивал в себя йодный острый воздух. Нет, всё-таки хорошо. Что сейчас делает Наташа? А что, если бы она лежала сейчас рядом на этом спальном мешке, о чем бы они стали говорить? Неужели ссорились бы?

Стало жарко, и Сергей забрёл в воду. Песок очень полого уходил вглубь, и пришлось порядочно отойти от берега, прежде чем вода поднялась по грудь. Пока шёл, почувствовал, что по ногам что-то легонько постукивает. Склонился к прозрачной воде и сквозь голубовато-зелёную дымку увидел облако креветок. Рачки двигались в одном направлении, и некоторые натыкались на его ноги. Эх, жалко, маску не взял, мелькнуло в голове.

Поплавав, полежав на воде, Сергей вновь выбрался на ракушечник и растянулся на спальнике. День тянулся долго, его никто не трогал, крикнули только раз, чтобы шёл обедать, но он не пошёл. Хорошие всё же ребята, подумал Сергей, понимают...

Всё пройдёт, убеждал он себя и начинал верить в это; всё пройдёт, появится другая Наташа, лучше прежней, которая будет подходить ему, а он будет подходить ей. Ну, пусть её будут звать Ира или Таня, а может быть, вообще Эльвира. Не в этом суть. Безнадёжных ситуаций не бывает. Просто должно пройти время. Время лечит, не зря говорят.

И никто ни под кого не должен подстраиваться. Твоя жизнь — это твоя жизнь. Другой не будет, а Наташ сколько угодно. Тоска вроде бы потихоньку уходила.

Вдруг оказалось, что солнце, так долго висевшее в зените, скатилось к самым скалам на дальнем мысе. Оно увеличилось и из белого стало жёлтым. Потом на глазах стало менять форму — из круглого становилось похожим на яйцо, на красное пасхальное яйцо. И море играло красками, густея, наливаясь то бирюзой, то фиолетовым, рябя красноватыми бликами. Увидь он это на картине, ни за что не поверил бы, что такое бывает в реальности.

А солнце тем временем перевалило мыс и уходило в море, превратившись в апельсино-

вую дольку, очень похожую на тот большой алый леденец, который отец однажды ему, ребёнку, привёз в гостинец из Прибалтики. И тут случилось совсем уж невероятное, словно подстроенное неведомым режиссёром. Из-за мыса показалось несколько — один за другим — парусов. Виндсёрфингисты стояли на досках легко и свободно, а за досками струился рябящий красным след. И в этом следе мелькали спины дельфинов! Боже! Какая же красота! Сергей во все глаза смотрел на эту невероятную картину до тех пор, пока паруса не скрылись за пирсами посёлка.

Он вновь перевёл взгляд на убывающую солнечную дольку и вспомнил, как отец рассказывал, что именно в такие минуты, если повезёт, можно увидеть зелёный луч. Явление очень редкое и, как говорят, приносящее удачу в жизни. Главное, смотреть внимательно, ведь луч этот горит всего одну секунду. И Сергей принялся до слёз в глазах всматриваться в тающий краешек солнца, боясь сморгнуть. Солнце кануло в чёткую линию горизонта, разделяющую тёмно-синее и оранжевое, но луч не появился, не мелькнул. Еще минуту Сергей в надежде смотрел на горизонт, но нет...

Ветер стих, из посёлка послышался далёкий крик петухов и неслышный раньше лай собак. Быстро темнело. Сергей вернулся к палаткам, лежал на спальнике, расстеленном прямо на песке у костра, слушал и не слушал всё те же разговоры и те же песни, перекачивал с ладони на ладонь горячую, пачкавшую пальцы картофелину и ни о чём не думал. Или ему казалось, что не думал. В душе-то всё время что-то шевелилось.

А когда стемнело и погас костёр, небо обметало такой звёздной пылью, какой Сергей не видел, пожалуй, с детства. Млечный Путь был густ и висел косо, не так, как в средней полосе. Казалось, поднимись на скалу на мыске, протяни руку — и коснёшься этой серебряной пыли, и окажется она на ощупь холодноватой, как лёд.

Сергей лежал, задрёмывал, и ему вдруг стало хорошо и покойно. И впереди ещё целых две недели этого спокойствия. А мыслей бояться не надо. Наоборот, нужно думать и думать. И что-нибудь придумается. Обязательно придумается. Иначе быть не может...

З У Ъ

Старую плитку убрали заранее. Когда её отключили и сдвинули с места, Екатерине Александровне сделалось несколько даже неловко. У неё, чистоплотной домовитой хозяйки, за плитой оказался, надо сказать, необъяснимый бардак. Как это всё туда попало?! Ну, пыль-паутина — ладно, ни веником, ни пылесосом туда не проберёшься, вот и скопилось. Но там оказалась ещё масса разнообразного мусора: несколько монет ещё советских времён, спичечный коробок, оловянный солдатик, почерневшая вилка, салфетка, большая красная пуговица (не помнила Екатерина Александровна этой пуговицы, хоть убей, не было в этом доме вещей с такими пуговицами). Приклеилось к линолеуму до последней степени проржавленное лезвие бритвы «Нева» (отец брился такими когда-то). Новогодняя открытка (надпись выпцвела и едва просматривалась). Комочек бумаги.

Нет, не просто комочек, Екатерина Александровна развернула его и увидела, что это записка, в записку эту был завёрнут зуб. Детский молочный. «Первый молочный Катенинкин зубик...» — прочитала Екатерина Александровна едва заметную карандашную строчку и присела на табурет.

Зуб шатался, цеплялся за язык и побаливал. Мешал, в общем. Пока родители у себя в комнате рассуждали, кому из них удобнее вести дочь к дантисту, бабушка взяла чёрную толстую нитку, сделала петельку и, накинув её на больной зуб, другой конец нити привязала к ручке кухонной двери. Посадив внучку на колени и прижав её голову к груди, позвала сына. Катин папа открыл дверь, зуб вылетел изо рта и с костяным звуком стукнулся о косяк.

Все принялись рассматривать зуб. Мама проворчала что-то про антисанитарию и заставила Катю прополоскать рот раствором марганцовки. Вечером бабушка на обрывке тетрадного листа написала записку и, завернув в него молочный зуб, научила Катю:

— Скажи: «Дедушка Домовой, возьми зубик репьяной, а верни костяной...» И кинь за плитку. И зубки у тебя будут хорошие.

Катя так и сделала...

...Зубки у неё и правда получились на загляденье. Сколько лет пролетело! Папа теперь уже старше бабушки. Екатерина Александровна ещё раз прочитала бабушкины каракули: «Первый молочный Катенинкин зубик, на паску 1983 год». Она поднялась, пошла в комнату и, сняв с полки шкапулку с колечками-серёжками, аккуратно положила туда и зубик, и записку. Потом долго стояла у окна и плакала...

□

Александр ЛОМТЕВ

родился в 1956 г. в с. Суворово Нижегородской обл.

Писатель, журналист, график.

Автор книг «Путешествие с ангелом», «Ундервуд»,

«Книга памяти Нижегородской области (Том о локальных конфликтах)»,

«Дорога длиной в век» и т.д.

Лауреат премии «Имперская культура» Союза писателей России,

финалист Бунинской премии 2008 г.,

лауреат премий Союза журналистов России,

«Патриот России», «Золотой гонг» и др.

Живёт в г. Сарове.

